

ВИКТОР
ШЕНДЕРОВИЧ



САВЕЛЬЕВ

повести и рассказы

Самое время!

Виктор Шендерович

Савельев: повести и рассказы

«WebKniga»

2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)

Шендерович В. А.

Савельев: повести и рассказы / В. А. Шендерович — «WebKniga»,
2017 — (Самое время!)

ISBN 978-5-96-911647-4

Новая повесть Виктора Шендеровича "Савельев» читается на одном дыхании, хотя тема ее вполне традиционна для русской, да и не только русской литературы: выгорание, нравственное самоуничтожение человека. Его попытка найти оправдание своему конформизму и своей трусости в грязные и жестокие времена — провалившаяся попытка, разумеется... Кроме новой повести, в книгу вошли и старые рассказы Виктора Шендеровича — написанные в ту пору, когда еще никто не знал его имени.

УДК 821.161.1-3

ББК 84(2=411.2)

ISBN 978-5-96-911647-4

© Шендерович В. А., 2017

© WebKniga, 2017

Содержание

Информация от издательства	5
САВЕЛЬЕВ. Повесть	6
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Виктор Шендерович

Савельев: повести и рассказы

Информация от издательства

Художественное электронное издание

16+

Шендерович, В. А.

Савельев: повести и рассказы / Виктор Анатольевич Шендерович. – М.: Время, 2017. – (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1647-4

Новая повесть Виктора Шендеровича «Савельев» читается на одном дыхании, хотя тема ее вполне традиционна для русской, да и не только русской литературы: выгорание, нравственное самоуничтожение человека. Его попытка найти оправдание своему конформизму и своей трусости в грязные и жестокие времена – провалившаяся попытка, разумеется. . . Кроме новой повести, в книгу вошли и старые рассказы Виктора Шендеровича – написанные в ту пору, когда еще никто не знал его имени.

© В. А. Шендерович, 2017

© Состав, оформление, «Время», 2017

САВЕЛЬЕВ. Повесть

*Что-нибудь о загубленной жизни —
У меня невзыскательный вкус.*

С. Гандлевский

Часть первая

Савельев проснулся оттого, что кто-то рвался снаружи в балконную дверь.

Он лежал несколько секунд с оборвавшимся сердцем, прежде чем сумел вспомнить, кто он и где. Отель, Израиль... Как звать этот город? И что он здесь делает?

В чернильной мгле за стеклом чужое море, беснуясь, отгрызало куски пляжа, и дверь ходила ходуном. Спать было невозможно. Оставалось думать, и Савельев покорно лежал в дребезжащем мраке с открытыми глазами. Думать не получалось: страх расползался, как чернила по промокашке, древний бессмысленный страх. Кто-то ломился в дверь.

Савельев нащупал выключатель, и страх вытеснила внезапная злоба, когда ночник осветил пространство, в котором он лежал. Что за идиотский отель она ему сняла? Какая-то недоделанная кубатура, даром что на море. Что толку в этом море?

Он собрался с силами и пошел на войну с балконной дверью, но проиграл: рама начала биться в падучей, едва он переставал вжимать ее в косяк. Сэкономили на стеклопакетах, евреи... Савельев оскалился в отчаянной усмешке: ну и что теперь делать, а? Третий час ночи!

Он чувствовал себя идиотом.

Повело, называется, ката на святки¹.

Таня эта обнаружилась в фейсбуке месяц назад. «Леонтовская студия, 1986 год...» Студию он помнил, помнил Леонтова – сутулого, в вечном свитере, давящего в пепельнице дешевые папиросы... Вроде бы умер он недавно. Вообще на отшибе доживал, ни слуху ни духу... Но говорили: вроде умер.

Да, Леонтов, кумир молодости. Он вспомнил его каркающий голос, свои стихи, Ленку Стукалову, пожизненный шрам на сердце, и следом, конечно, Гальперина. Вспомнил Элика Шадрова и свою детскую ревность: у того вдруг напечатали подборку в «Новом мире»...

А вот эту Таню помнил нетвердо, осталось только на краешке памяти теплое звукосочетание – Таня Мельцер – и ощущение, что целовались. Да, целовались, конечно, с кем он там не целовался! У него был табун поклонниц в этой студии, у юного гения, а что он гений, было решено с самого начала. Гений, любимчик и мартовский внесезонный кот в законе.

Четверть века прошла, блин.

Далеко внизу, на краю избитого морем пляжа, в слабом круге одинокого фонаря, пыталась взлететь пальма.

Какого рожна, подумал Савельев. Ностальгия пробила, любви захотелось напоследок... Да, думал он, плавая лбом стекло оконное и успевая изойти тоской оттого, что эта строка не его; да, любви! И ведь успел даже придумать, что она любила его всю жизнь, эта Таня Мельцер! А с чего вдруг женщина после смерти мужа отыскивает друга юности и зовет его приехать?

А еще – ее знакомая, поклонница таланта, узнала об их старой дружбе и ищет встречи с Савельевым: не против ли он поужинать? Когда он был против молодых поклонниц? Вот и рванул навстречу сюжету, на сердечный авось.

¹ Слово заменено на другое во исполнение закона № 101-ФЗ от 5 мая 2014 г.

А она прислала в аэропорт болтуна-неряху в кипе: «Таню вызвали на работу, она просит прощения, она потом вам позвонит».

От присланного остро пахло потом. Савельев довольно демонстративно приоткрыл окно, но чудак даже не заметил этого и всю дорогу терзал разговорами о литературе: что вы думаете о том, об этом... Дико раздражали Савельева эти расспросы, – главным образом потому, что самого Савельева костлявый в кипе даже не упомянул!

Зато с трепетом спросил про Гальперина: вы с ним знакомы? как он, что? Даже по отчету назвал врага, аж лицо скрутило у Савельева от этой соли на рану. Он что, справочное бюро?

– А вы меня не узнали? – вдруг улыбнулся водила.

– Признаться, нет, – холодно ответил Савельев.

– Я же в леонтовскую студию приходил, – обрадовал костлявый.

– А-а.

– У меня к вам просьба имеется... – завел он, и Савельева наполнило привычной ненавистью: все вокруг писали стихи и хотели, чтобы он помог их издать! Но энтузиаст хотел другого – поговорить пару часиков, под запись, о леонтовской студии для книги воспоминаний.

Кругом графоманы.

– Двадцать минут, – сухо сказал Савельев. – Завтра, в лобби.

– Где?

– На рецепции!

– А когда?

– Позвоните утром, – оттягивая обузу, сказал Савельев. – У вас же есть мой телефон?

– Да, Таня дала. Но... это... – Бедолага замялся. – Это дорого очень. Может, сейчас договоримся?

Савельев перевел дыхание: раздражение накапливалось в нем неотвратимо.

– Хорошо. Завтра, в четыре.

– Годидзе! – Неряха аж причмокнул от радости, что провернул свое дельце, и на радостях дал газа. Савельев вцепился в сиденье: водить еще толком не умел дурачок этот, машину дергал все время. Слава богу, хоть довез целым в этот странный отель...

Нетания называется город, вспомнил Савельев, лежа в темноте под грохот балконной двери. Таня – Нетания...

Но что за работа такая, что нельзя снять трубку?

Еле отвязавшись от пахучего мемуариста (поужинать приглашал, дурачок), Савельев добил вечер прогулкой, вернулся в номер и еще час бессмысленно шарил по интернету, косясь то на айфон, то в фейсбук. Потом интернет рухнул, и он тоже рухнул в ожесточении в постель, – чтобы проснуться среди ночи с оборвавшимся сердцем.

Кто-то рвался в балконную дверь.

Когда он очнулся, было светло, и дверь потряхивало совсем легонько. Предутренний сон вытек из памяти, оставив по себе непонятную тоску. Савельев нашарил на тумбочке часы и не сразу навел глаза на резкость. Полежал еще, вспоминая сюжет, в который попал, и, заранее раздражаясь, пошел проверять айфон.

Айфон был как айфон; никто в него не звонил.

– Сука, – сказал Савельев и побрел в ванную.

На завтраке его царапнуло то, что смутило еще при заезде: огромный отель был почти пуст и недоделан даже; какие-то смутные румыны ковырялись в углу с розетками, обломки строительного мусора лежали вдоль стен, отсутствующее окно похлопывало полиэтиленом...

Официантка принесла кофе, круассан и липкую коробочку джема – это был здешний завтрак, и на этом завтраке он был один. А с чего он взял, что будет иначе? Она сказала «у

моря», – вот Савельев и подумал, что какой-нибудь «Шератон». Классом ниже его давно не селили.

И почему он вообще согласился, что его селит – она? А вот поди ж ты, полезло из души гниловатое, сладко-волнующее: женщина платит... Господин приехал! И эта еще, молодая поклонница обещанная... Вот и расковыривай теперь коробочку джема на стройплощадке!

Савельев был зол на себя, но досада еще была готова перейти в лирический сюжет. Надо увидаться, подумал он. Мало ли что у нее случилось вечером, – может, чем-то хорошим сердце и успокоится.

Ему очень хотелось любви. К себе, разумеется, к кому же еще?

Савельев снова набрал ее телефон – безответные гудки.

Он поднял руку и злобно-терпеливо держал ее в воздухе, дожидаясь, пока его заметят. Второй кофе был тут за деньги. Черт с вами, запишите на номер! Только кэш, сказала официантка. Да что ж такое!

Шекелей у него не было. Банкомат в магазине, сказала официантка, магазин на площади. И по-английски, главное, сказала: по-русски тут еще не понимают, Израиль называется!

Искать банкомат Савельеву было лень – раскопал и показал официантке мятую бумажку в пять евро: возьмете? Поджала губы, кивнула, принесла кофе. Ну хоть так.

Он велел себе не расстраиваться по мелочам и ни о чем не думать, – авось прояснится само! Берег моря, три свободных дня, худо ли? Но мысль о досужем куске времени отозвалась привычной горечью.

Стихов давно не было.

А ведь были когда-то! Все становилось стихами в те первые московские годы, все перекликалось между собой и возвращалось в мир желчью и нежностью. Он боялся смерти и торопился жить, – оттого и писал взхлеб, и трахался с настойчивостью, изумлявшей Литинститут.

Но смерти не случилось, а случился слух о таланте, оации на читках, уважительный отзыв классика – настоящего, битого еще при Сталине... Все это сдетонировало внезапными новыми временами, когда вдруг стало *можно*, – а он сразу почувствовал эту грань и начал играть на опережение.

Смерть как-то подзабылась, а в будущем открылся нешуточный простор. Юная жилистая худоба, пшеничная челка, серые лермонтовские глаза на скуластом лице: смерть бабам! (Ростом его природа тоже не обделила, Лермонтову делать нечего рядом.)

Дурь вдохновения отпускала свой товар щедро – и спустя четверть века Савельев помнил, каково это, когда сам становишься веной, в которую вставлена волшебная игла! Это было круче секса. В постели оставалось ощущение недостачи, да и сам симулировал, – а когда перло стихами, дописывался до полного освобождения и шатался потом по городу, счастливо опустошенный...

Савельев встал, чуть не расплескав кофе, и вышел наружу. Ветер освежил его, но принес только пустоту. Ни строчки не принесет ему больше никакой ветер, – это Савельев понял давно, а жизни, будто в насмешку, оставалось еще много, вот он и занимал ее разными способами. Этой Таней, например...

Официантка недобро посматривала в сторону Савельева, как будто он сбежит из-за чашки кофе, – ну не дура? Из гордости Савельев постоял на ветру дольше, чем хотелось, и побрел отдавать свои пять евро. И тут, оборвав понапрасну савельевское сердце, заквакал навстречу айфон, оставленный на столике.

Номер был не Танин, московский, неприятно-знакомый. Савельев, брезгуя, не вносил его в телефонную книгу, но глаза все помнили...

Это и «корпоративом» еще не называлось в те годы – просто позвали выступить и посулили сто рублей. Удивляясь такой прухе, юный Савельев поперся на край города почитать

стишки... Был успех, просили еще, и он остался у микрофона – и вернулся к столам триумфатором.

Крупного помола человек жестом, как муху, согнал сидевшего напротив – и указал на освободившееся место. Ну, за сто рублей можно и посидеть. И на втором слове оказалось, что детина этот, владелец кооператива, тоже воронежский. Мало сказать: чуть ли не с соседних улиц отправлялись в Белокаменную за биографией!

Подставленная для хлопка ладонь, улыбка до мясистых ушей:

– Зёма!

Слова этого Савельев не знал, догадался по звуку: земляк, земля... Слово было армейское, а от армии Савельева бог миловал.

Ляшин же, к чьим берегам прибило в тот день савельевскую жизнь, любил повспоминать про священный долг, пересыпая пахучие сюжеты густым матом. Матом он разговаривал и на другие темы и вообще был плоть от плоти народной. Веселая сила сочилась из земляка, бессмертием пахло от каждой секунды: вот уж кто не собирался умирать никогда!

«Все под контролем» – было любимое его выражение, и сразу становилось понятно: не врет! Савельева потянуло к Ляшину, как диабетика к коробке с инсулином.

Через пару дней он зашел к новому приятелю в офис и задохнулся от тайного восторга: Ляшин был богат. Кабинет с секретаршей, и какой секретаршей! Массивная мебель, коньяки в шкафах, телевизор в полстены...

Богатство подчиняло Савельева. Никогда он не видел такого, – да и где ему было такое увидеть? Смежные комнаты в хрущевке, вечный стыд безденежья... Ляшин, впрочем, взлетел на свои вершины вообще со дна.

Настоящие вершины были у «зёмы» впереди, что там серванты с коньяками! Многие из шедших на взлет в те годы стали потом частью пищевой цепочки, – многие, только не Ляшин.

Савельев начал захаживать на уютные задворки Земляного Вала, находя странное удовольствие в офисном китче, в брутальном взгляде нового приятеля на мир, в грязноватых диалогах под пузатенькую бутылку, о цене которой было стыдно и приятно думать. Играючи принял положение младшего, жизни не знающего: гнилой интеллигент в обучении у народа...

И хотя подчеркнуто валял дурака, изображая приниженность, – приниженность была настоящая, и Савельев смущался, чувствуя это.

Четверть века просвистела в ушах, и почти всех выдуло вон из савельевской жизни, а Ляшин остался. От него звонили, и Савельев знал, зачем звонят, и не снимал трубку.

Савельев расплатился, злобно дождался сдачи еврейскими монетками – и снова вышел на пляж, побитый ночным ураганом.

Море дышало приятным остаточным штормом, и кусок первозданного неба поглядывал на Савельева в дырку меж облаков. Постояв немного с инспекторским видом, он направился на ресепшн, твердо решив добыть интернет и поработать.

Прорежется эта Мельцер, куда не денется, а он покамест колонку напишет, вот что! Эссе эдакое, про кризис либерализма. Давненько от него Европа люлей не получала...

Савельев взбодрился. Все-таки он не хрен с горы, а важная часть культурного процесса!

Вялая девица на ресепшне даже не извинилась, халдейка, за упавший интернет. Савельев хотел прочесть ей лекцию о том, что не надо экономить на клиентах, но англиша не хватало, а тут еще в спину палилась какая-то тетка. Прилюдно позориться не хотелось, и, сооротив гримасу, Савельев двинулся в сторону номера.

И обернулся на свое имя.

Тетка смотрела уже не из зеркала.

Что это и есть Таня Мельцер, Савельев скорее догадался, чем увидел. Изобразил улыбку: привет. Но обмануть не получилось ни себя, ни ее. Она была некрасива, хоть сейчас и прощайся. Да еще в какой-то нелепой хламиде.

«Какого хрена приперся?» – в тоске подумал Савельев. Ну целовались. Так ей же восемнадцать лет было!

Но при чем тут возраст. На Савельева смотрела странная женщина. Смотрела – он вздрогнул – почти ненавидящим взглядом. Потом отдернула глаза и заговорила, теребя в руках сумку.

– Прости, вчера не могла: вызвали на работу, забыла телефон...

Она говорила, глядя Савельеву за плечо. Врать эта женщина не умела.

– Ну хорошо, какая разница, – перебил Савельев, почти не скрывая раздражения. – Здравствуй.

Тетка посмотрела ему в глаза:

– Здравствуй.

И он вспомнил.

Как в потрескавшейся кинохронике, увидел сквер на Поварской, скамейку, худосочную девушку с запрокинутой головой, нежную жилку у глаза... Глаза эти закрылись тогда мгновенно. Поцелуй казался предвестием полной власти, и юный поэт успел прикинуть маршрут до проверенного убежища на чердаке, но ему вышел облом: Таня не пошла. Вторая попытка затянуть девицу в омут тоже не удалась, а третьей он и не делал: целовался уже с другими... Жизнь-то одна!

А Таня Мельцер все приходила на его выступления в леонтовский подвальчик – и смотрела вот этими жалкими глазами из третьего ряда какого-нибудь. Однажды подошла: «Вот. Это тебе».

Это была книга в серой замшевой обложке, отстуканная на «Оптиме» и сшитая под обрез: его стихи. Первая книга! Тираж четыре экземпляра – так и написала на последнем листе. Недавно выпало на него это рукоделье из книжных завалов...

Жизнь пролетела в мозгу у Савельева и вернулась в лобби отеля, где стояла, глядя на него, некрасивая женщина в хламиде. И девица, не отрываясь, смотрела на них из-за стойки: даже проснулась, дрянь, почуяв сюжет.

– Пойдем куда-нибудь, – сказал Савельев.

Они вышли из отеля и, отворачиваясь от ветра, цугом побрели по улице – он и некрасивая тетка чуть впереди. Пальмы кивали, что-то зная о происходящем.

Пустое кафе на берегу ждало только их.

Савельев заказал салат: он был голоден; Мельцер есть отказалась, закурила, глядя в сторону и лишь иногда бросая на него внимательные взгляды. Было странно, но интересно. Что этот сюжет не про любовь, Савельев уже понял. А про что? И – как насчет обещанной молодой поклонницы? Савельев постеснялся спрашивать сразу, но, в общем... э-э-э...

Незнакомая чужая женщина собиралась с силами, чтобы заговорить. Савельев решил не помогать, наблюдал. Море ходило валами за ее спиной.

– Ну, – весело спросила наконец Таня Мельцер, – как жизнь?

В неестественно бодром голосе звучал вызов, и он принял его, отрезав без подробностей: жизнь – нормально!

– Ты хотела меня видеть, – напомнил он через несколько секунд.

– Да, – ответила она. – Давно не виделись.

Не виделись они и вправду бог знает сколько лет, но в простых словах Савельеву послышался опасный смысл, и мир вокруг начал заполняться знакомым гулом... Он помнил, когда это началось, и дорого дал бы, чтобы забыть.

Душа взмывала куда-то – и перед тем как вернуться, успевала увидеть Савельева снаружи.

Потом начались фобии, и панической атаке предшествовал все тот же предательский гул в голове. За Савельевым кто-то следил, и этот кто-то имел право на его жизнь. Савельев не верил в бога, но это был точно не бог. Это была конкуренция, а не власть.

Потом в его жизнь вошли тяжкие сны. Это я, беззвучно кричал он, но никто не верил ему, и все проходили мимо – его женщины, его жена... Пограничник сверял лицо с фотографией и просил пройти куда-то, и обрывалось во сне савельевское сердце: попался! И он просыпался в холодном поту.

И раз за разом сутулый старый поэт из прошлой жизни кашлял, давя в пепельнице папиросу, и всматривался исподлобья... И качал головой: ты не Савельев.

И только Ляшин радостно кричал «зёма!» и хлопал ладонью о ладонь.

И сейчас, в прибрежном кафе на чужом краю света, пока валуны воды шли на него и оседали за спиной малознакомой женщины, – Савельева пробило холодом вдоль хребта: в прошлом расплзалась дыра. Между ним и этой женщиной было что-то важное!

Он быстро глянул в глаза напротив. Ненависти не было там – была печаль и была тайна. Незнакомая Таня Мельцер пришла рассказать ее и не могла решиться...

– Говори, – прохрипел Савельев. В горле вдруг пересохло. Он вспомнил, как кто-то рвался ночью в балконную дверь.

– Я не знаю, с чего начать, – ответила женщина.

– Начни с чего-нибудь.

Она помолчала, глядя вбок, а потом спросила:

– Как ты себя чувствуешь?

В кармане снова заквакал айфон, и Савельев почти крикнул в раздражении:

– Перестань валять дурака! Говори, зачем пришла!

– Не кричи на меня, – ответила женщина, и он похолодел: ему не показалось. Она смотрела ненавидящими глазами.

Айфон продолжал блямкать, вибрируя в кармане и доводя до бешенства. Савельев, не глядя, настиг и задавил звонок.

– Зачем – ты – меня – позвала?

– А ты зачем приехал? Довести дело до конца? – Она почти шипела на него, и злые огоньки горели в зеленых глазах. – Расстроен? Ну извини. Овчинка выделки не стоит, скисло винцо...

– Не говори глупостей! – крикнул Савельев, готовый подписаться под каждым ее словом.

И услышал:

– Я хотела тебя убить.

Он даже не удивился, а спросил только:

– За что?

Женщина не ответила. Она смотрела вбок. Принесли салат; официантка спросила что-то, потом переспросила. «Нет, спасибо», – ответил ей Савельев, так и не поняв, о чем была речь.

Они снова остались одни, и незнакомая ему Таня Мельцер, помолчав, сказала:

– Это все неважно. Прости. Не надо было мне приходиться...

Савельев почувствовал вдруг невыносимый голод.

– Я поем, пока ты меня не убила?

Шутка не разрядила ситуации, и он стал запихивать в себя куски еды, впрямь ощущая странное счастье оттого, что жив. Он ел, а она смотрела вбок. Потом Савельев поднял глаза: женщина опять рассматривала его, как будто видела впервые.

– И все-таки, – сказал он с заново оборвавшимся сердцем.

Таня Мельцер покачала головой.

– Не надо. Это мои заморочки. Ты ни при чем. Прости. Правда не надо. Повидались, и все.

– Хорошо, – сказал он. И осторожно спросил: – Как ты жила?

Внезапная красота осветила лицо женщины, сидевшей напротив. Он не поверил глазам: Таня Мельцер улыбалась.

– Я была счастлива, Олег. Я была счастлива.

Савельев женился на исходе «совка» – на дочери известного московского поэта. Не первого ряда был поэт, но из приличных. Да неважно это! А важно было, что Ленка Стукалова вышла замуж! И добро бы просто замуж – вышла за Гальперина!

Имя счастливицы ранило Савельева в самые потроха.

Гальперина он давно вынюхивал издалека, как зверь вынюхивает зверя крупнее себя. Тот был чуть старше по паспорту и сильно старше по биографии – неполная мореходка, чукотские экспедиции, лечение от запоя и хромая нога в придачу. Шутки про Байрона Гальперин принимал с веселым спокойствием: самоощущением был не обделен.

И вот – Стукалова! Тоненькая, приветливая, недоступная. Единственная. При ней Савельев разом терял свой победительный напор и становился трепещущим мальчиком, но этот ледок так и не растаял...

Громом среди ясного неба стала весть об их свадьбе. И непонятно было даже, где они могли познакомиться! Савельев перестал спать; все ворочался, представляя нежное забытье красавицы в руках умелого соперника... Потом стиснул зубы и решил выбить клин клином.

Юля любила Савельева и была вполне себе хороша (зубы только крупноваты), но если вычесть из комбинации папу-совписа, то, в общем, ничего особенного; это был билет в клуб, и Савельев понимал приоритеты.

Жена поняла их не сразу, а поняв, застыла в иронической гримасе, плохо скрывавшей тоску. Беременность пришлась очень кстати: она переключилась на будущего сына, а Савельев отвалил в собственные сюжеты. Все рухнуло гораздо позже, когда Савельев и думать забыл о жене, а тогда было не до того: он шел наверх, назло тем двоим...

Судьба разворачивалась на зависть миру, ничего не знавшему о скелете в савельевском шкафу. Публикации шли десятками, его уже вовсю показывали по телевизору и приглашали в престижные тусовки; гонорис кауза, так сказать, – и самого по себе, но и как представителя касты!

Тесть ему симпатизировал. Потом-то перестал, а вначале – симпатизировал очень. С ним, намертво застрявшим в шестидесятничестве, Савельев был почтительно-ироничен, поняв однажды, что в новом литпроцессе сам значит уже гораздо больше. А вот тещи сторонился: дочернего неравенства она не простила и твердо держала холодноватый тон; даже внук не размягчил обиженного материнского сердца.

Лешка рос смешным и симпатичным, но не от этого колотилось учащенно савельевское сердце, не от этого! Он услышал про себя однажды, что он – безусловный «номер раз» в своем поколении. И хотя говорила это цэдээловская тусовочная тетка, на которую в прочее время было наплевать, Савельев тут же полюбил ее как родную и чуть не переспросил: лучше Гальперина?

Но когда у того вышла подборка в «Знамени», Савельев долго не мог заставить себя открыть журнал: боялся, что стихи понравятся. Потом все-таки прочитал и несколько дней ходил с испорченной душой. Дьявол! Стихи были настоящие...

Он следил за Гальпериным, ревниво ловя встречный интерес, но встречного интереса не было, и это неподдельное равнодушие было уже совершенно невыносимо. Савельева не держали за человека, его не принимали в клуб!

А компания собиралась славная – то в гальперинской квартире на Хорошевке, то на десяти его сотках в Перхушково... Земля слухом полнилась! Старшие привечали хромого как равного, а Савельев все валандался в ЦДЛ и светился на презентациях (только появилось тогда это слово, вобравшее в себя мечту бывшего советского народа о бесплатном обеде).

Потом какой-то добрый человек перенес с Хорошевки обретенную по его адресу усмешку и слово «штукарь», и в тот вечер Савельев отдал себе наконец отчет в том, что ненавидит Гальперина.

Он уже и Стукалову не любил – ненависть забрала все силы.

Существование счастливца отравляло собственные стихи: с ужасом понял Савельев, что соревнуется, примеряет написанное к чужой мерке, все пытается подняться туда, в холодноватое отчаяние гальперинских текстов...

Весть о том, что Стукалова ушла от хромого, пролилась сладким бальзамом на эти раны. Савельев остро захотел подробностей и легко узнал их: Гальперин сам выгнал жену после пьяного скандала. Развязал, значит. Это обрадовало Савельева дополнительно...

С новыми силами он организовал рывок в стратосферу, и через третьи руки улетела за океан книга стихов – к великому нобелиату, с элегантно-дарственной... Савельев затаился в ожидании ответа. Отзыв пришел нескоро, косвенный и небрежный. Говоря прямо, Савельева отшили.

В день, когда он узнал это, его, озлобленного на судьбу, столкнуло на улице со Стукаловой. Она обрадовалась ему, и он вцепился в этот шанс. Он должен был ее трахнуть, должен! Речь шла уже не о любви: Савельев вышел на тропу мести.

Но и мести не получилось: едва он включил интимный регистр, как непроницаемая стена встала перед ним. Отвратительнее же всего было то, что Стукалова, кажется, обо всем догадалась.

– Я люблю другого, – сказала она, беспощадно глядя ему в глаза.

Он ехал потом домой, ненавидя себя, Стукалову, жену с ее зубами... всех, вообще всех! Нет, он не был счастлив. Никогда не был. А Таня Мельцер – была. И улыбалась ему – через минуту после слов «я хотела тебя убить».

Савельев вздрогнул, вернувшись в настоящее: моря не было за ее спиной, все снова поглотила серая пелена.

– Ну хорошо, – глупо ответил Савельев на сообщение о чужом счастье. За окном хлестало струями ливня и мотало взад-вперед пальмы. – Ну и погодка у вас.

Он вдруг сообразил, что просидит тут бог знает сколько времени: деваться было некуда.

– В феврале всегда так, – ответила Таня.

– Давно ты тут? – спросил Савельев, и странное напряжение снова повисло между ними.

– С девяносто пятого.

Голос ее дрогнул. Все это почему-то имело отношение к его жизни, и Савельев двинулся наугад:

– Расскажи.

– Что? – вздрогнула женщина.

– Расскажи, – настойчиво повторил он.

Она пожала плечами:

– Уехала. С мужем.

– Я его знаю?

Она замолчала и отвела глаза, и в наступившем провале Савельев едва подавил паническую атаку. Бежать! В ливень, куда угодно, только подальше отсюда...

Разговор вернулся в ту же тревожную точку. Женщина подыскивала слова, не решаясь произнести какое-то одно, главное, и в кармане, напоминая о савельевском рабстве, снова отвратительно квакал недодушенный айфон.

Почему он так старался понравиться «зёме»? Савельев боялся думать об этом: жесткая сила давно подчинила его душу...

На ляшинский тридцатник Савельев намарал и исполнил в застолье веселый стишок. Ляшин уже был депутатом; и сам раздался, и кооператив распух в корпорацию. Десятилетие прошло не напрасно – «зёма» жил в охотку, чудя и удивляя товарищей по мелкоолигархическому цеху: личная линия парфюма, коневодство...

А еще он – пел. Любил взять в ресторане микрофон и, помахивая в такт ручищей, исполнить из Высоцкого. Многим нравилось, да и куда им было деться?

Юбилейный стишок Савельева имел успех, а гуляли в центровом месте, прямо указывавшем на новый статус «зёмы»: одной obsługi шныряло десятка три. Гость был отборный – свой же брат депутат, министры вперемешку с авторитетами да звезды эстрады вприкуску... Савельев знал многих в этом зале, и его знали почти все: поэтическое десятилетие тоже не прошло даром.

Морок подступил внезапно и объял душу целиком. Савельев сидел за столом и в это же время ясно увидел себя вчуже – словно с невидимой телекамеры, облетающей этот небюджетный ад на останкинском кране: не вижу ваших рук! ваши аплодисменты!

Он перекладывал себе на тарелку присмотренный кусок осетрины (осторожно, чтобы легло сбоку от салата) – и ясно видел это общим планом. Слышал гул и посудный звон, смотрел на чью-то жену, что-то говорившую ему, и с ужасной отчетливостью видел шевелящиеся, густо напомаженные губы. В ноздри бил сладкий запах ее духов, и причудливо расчлененный ананас в вазе смотрелся зловещей шуткой...

Савельев извинился и на ломких ногах, в росе холодного пота, пошел в туалет, продолжая видеть себя снаружи.

Две пригоршни холодной воды не помогли: гул продолжался. Он распрямился и с опаской посмотрел в лицо, смотревшее из зеркала. Это лицо было уже почти незнакомо ему.

Выходя, Савельев оглянулся. Тот, в зеркале, смотрел тревожно и продолжал смотреть, когда Савельев закрыл дверь.

Холодный вечерний ветер обнял его с жалостью, – уже не юношу, бывшего поэта, клоуна на чужом пиру. Все еще будет хорошо, сказал он неверными губами. С какой стати? – усмехнулся тот, что жил внутри. С какой стати все должно быть хорошо?

Свиньячья рожа, при серьге и жилете, явившись из темноты, просунула к лицу Савельева узкую пачку. Савельев отпрянул и помотал головой: не курю.

– Помнишь меня? – спросила рожа.

Савельев снова мотнул головой и услышал собственный голос, сказавший:

– Нет.

– Да ладно! – всхрюкнув, хохотнула свинья. – Ла-адно! Загорди-ился...

И погрозила Савельеву пальцем.

Этот ужас преследовал потом Савельева. Он пытался выхаркнуть саму возможность знакомства с этой рожей – и не мог. Самое отвратительное заключалось в том, что рожа, несомненно, была видена раньше, и подлая память безжалостно раскладывала веер вариантов: тусовки, фестивали, сауны...

Как-то закурило Савельева в те годы. Как-то само собой все это с ним случилось.

Жена давно взяла устало-снисходительный тон: лети, дорогой, пособирай пыльцу. С Ляшиным у нее заискрило сразу, и больше Савельев к «зёме» жену не брал – ни на Коста-Браво, ни на дачу...

На даче – государственной, с овальными бирками на мебели – Савельев писал для Ляшина книгу, байки из депутатской жизни. Писал со стыдным удовольствием: литобработка, при тучном гонораре, была анонимной. Сначала он даже не поверил ушам, услышав цифру, решил: перекурил кальяна друг-зёма, попутал нолики...

Но все было на самом деле: и нолики, и личный ляшинский шофер, и милицейская машина сопровождения – с кряканьем и ветерком, вдоль глухой пробки на Кутузовском; просторные недра Рублевки, шашлычок, отменно приготовляемый холуем, откликнувшимся на погоняло «Лукич», рассказы «зёмы» о жизни элиты с громкими хохотунчиками и матерком...

Элита обитала тут же, за заборами.

Приобщился Савельев, что говорить. Для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги? Да вот, видать, для того.

Потом наступили новые времена, и Ляшин быстро посерьезнел вместе с ними. Боль за Россию появилась в нем, нешуточная тревога об отечестве проступила в раздобревшем теле. Война опять-таки. Чечены, млять, задолбали, мрачно ронял «зёма», но оживление выдавало его.

Мрачность была государственной, а оживление – свое: под вторую чеченскую Ляшин отжал с поляны конкурента, не угадавшего с происхождением. Депутатский запрос в прокуратуру сопровождался статьей о подвигах чечена в лихие девяностые. Не хотелось Савельеву писать ту статью (даже анонимно не хотелось), но Ляшин, собственно, и не спрашивал: это было поручение.

Савельев закочевряжился для порядку, но «зёма», чисто по-дружески, пошел навстречу, поговорил как с человеком, дал слово, что чеченец – бандит настоящий. Да тот и похож был на бандита!

И Савельев сварганил убойный текст.

Он писал, легко вживаясь в бойкий стиль комсомольской газеты: он почти пародировал! Это было упражнение на тему, утренняя хроматическая гамма профессионала. Разминка пальцев заняла два часа, а денег дала столько, что Савельев еще неделю ходил со шкодливой улыбкой на лице.

Все было неплохо, и только стихи как отрезало, так и с концами. Отчаяние ушло куда-то. А было когда-то первосортное отчаяние, было – горькое, настоящее! Оно давало подъемную силу строке, оно держало строфу на расправленных крыльях любимого четырехстопника с сердечным перебоем цезуры посередине...

Но какие там цезуры! – давно был телеведущим Олег Савельев, ироничным красавцем и колумнистом: кругом говно, а я ромашка... И не раз и не два корежило его от зрительского полуузнавания: ой, вы же в телевизоре выступаете... ну, в этой передаче, да? еще стихи читаете!

«Вы юморной», – похвалил его однажды незнакомый тинейджер, тормознув скейт, на котором катил по тротуару в незнаемое жесткое будущее. Юморной! Савельев кивнул кислой мордой и побрел прочь, но тут же остановился: прихватило сердце.

Это случилось с ним в первый раз, и он испугался. Все вдруг стало совсем просто и страшно, и женщина в легком платье прошла мимо, успев удивиться отчаянию, застывшему в глазах незнакомца.

Машины в вечерней пробке, подобные похоронной процессии, ползли по Садовому с длинными тенями наискосок, и кто-то строгий смотрел сверху, как стоит на тротуаре сорокалетний Олег Савельев, пытаясь понять: напоследок ему эти тени, это солнце, эта женщина... – или еще дадут пожить?

Его отпустили пожить – и снова поволокло волоком через какую-то дрянь, и не было сил взять в руки судьбу, и обморок продолжался...

И кто-то продолжал следить за ним.

Савельев выждал, пока доблямкает айфон в кармане куртки, и отключил его, отрезал с шеи проклятый поводок! И поднял глаза на стареющую женщину, нервно давившую в блюдце окурок.

На Таню Мельцер из позабытой леонтовской студии. Не видевшую его четверть века. Уехавшую в Израиль. Овдовевшую. И позвавшую в гости, чтобы убить.

Передумавшую, – хотя это, кстати, еще вопрос.

Савельев вдруг сообразил, что в сумке, которую женщина держит на коленях, может лежать пистолет. Идиотская мелодрама! Смешно и глупо, но погибнуть можно на раз.

– Говори, – сказал Савельев, косясь на неухоженные освободившиеся руки. – Не бойся.

И, подождав, сам ответил на вопрос про покойного мужа.

– Я его знал?

Она кивнула, чуть замешкавшись.

– Расскажи.

– Олег, – сказала Таня и повторила, будто прислушивалась к звуку его имени: – Олег... Я ведь спросила: как ты себя чувствуешь?

– В чем дело? – выговорил Савельев и услышал, как с шумом ходит кровь в его голове. А потом услышал, как из гулкого провала:

– Помнишь пансионат «Березки»?

Его бросило в такой жар, что он даже не успел удивиться: откуда ей известно?

Его привезли в эти «Березки» на пятисотом «мерине» через пустой январский город и смеркающиеся просторы. Стояли веселые девчонки, и за корпоративы платили очень хорошо. Кот-охотник, Савельев отпустил «мерс» – и остался в пансионате до утра.

В баре, куда он поднялся ближе к ночи, обнаружился желанный женский коллектив, уже разогретый шампанским. Их было пять, и все из его давешней публики; унылый пьяница за соседним столиком только подчеркивал беспроницаемый характер этой новогодней лотереи.

Савельева, разумеется, позвали пересесть, и он пересел и начал осматриваться.

Толстуха в углу была совсем никакая, гранд-дама с начесом отпадала по возрасту и парткомовским повадкам; еще две были в приятной бальзаковской стадии, причем одна приступила к атаке сама: прислонилась к Савельеву бедром и, как бы в приступе неудержимого смеха, начала его нежно потискивать. Эту крепость не надо было и штурмовать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.